БИБЛИОТЕКА СПОЛОХИ

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ

КОРЯВКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО Е. А. ГУТНОВА
ВЪ БЕРЛИНѢ

БИБЛІОТЕКА СПОЛОХИ

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ

КОРЯВКА

ПОВѢСТЬ

БЕРЛИНЪ 1922


ИЗДАТЕЛЬСТВО Е. А. ГУТНОВА
ВЪ БЕРЛИНѢ

РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ Е. А. ГУТНОВА
BERLIN S. 14, DRESDENERSTRASSE 82-83.

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ

КОРЯВКА

ПОВѢСТЬ



АВТО́ГРАФЪ

— — Что само удивит тебя брат в Петербурге, что во-
все не туманы и не звезды, а ветер.
Туманы проходят, звезды белеют, а ветер — —
как поднимется ветер, да как подует — так вот-
вот и сдует — и тебя со всей рухлядью, дом, кла-
ду, всё до тверды Петербургских — от Петропа-
вловской крепости и до Невской лавры.
В Москве есть Царь-пушка, а Архангельск, что б
на Москве ни с того, ни с сего палили из пушки!
А в Петербурге и в самый неурочный час — под-
ними ветером, даже Невою.
Как поднимется ветер, да как подует тут и
пушки и бахнут!
Но ветер перешибает! перепахает всю дню
пушку
и! — у — уу — ...!

— — — !

М! тайную улланицу Бестрову Нояб в Михай-
лов день возвращались мы с Павлом Елисее-
вичем Щеголевым домой с обезьяньих хименин
от князя обезьяньваго и уставщика обезья-
нского Михаила Михайловича Исаева.
Павел Елисеевич говорил по-персидски.
и вот на французской набережной, как сей-
час вижу, Петр Иванович ползком проби-
рается по бельэтажному карнизу и совсем
налегке: в смокинге и без шляпы
ничего не соображаю: почему, как и на та-
кой высоте опасной очутился Петр Иванович?
спрашиваю Павла Елисеевича.

Павел Елисеевич говорит по-персидски
и! — у - уу - ла - ет!
— — — !

и вдруг я увидел: в закрутившейся ветровой воронке Петр Вайлович и опять, как там на корнице, в смокинге и без шляпы и слышу сквозь вой ветра и кар-гар-гав ветра, яв-ственно голос Петра Вайловича:

— Ка-а-равка — —

— — — !

Все это может подтвердить и сам Павел Елисеевич.

Но есть еще одна вот как памятна:

в ту самую минуту, как один из ветров, сорвав Петра Вайловича с корниза, швырнул его куда выше Петропавловского шпиля, другой ветер уцепился за Павла Елисеевича, но не осилев — еще бы! — рванул из рук портфель и, разбрасывая рукописи, понесся вслед за улетавшим Петром Вайловичем, а портфель, если на глаз прикинуть, не совру, пудов десять так — богатство немалое

все подробности о покойном Петре Ивано-
виче, как и почему очутился он на такой вы-
соте опасной и пойдешь ли за то, что расск-
азал друг его приятель корабля.
Но кто его знает, этот корабль! — это
врёт, это правду.

17 v 1922 Charlottenburg

павел елисеевич щеголев, историк, один из архивных глав в россии.

старейший князь обезьяний обезьянской великой и вольной палаты

живет в петербурге, сторожит россию

евгений александрович гунст, для которого я и пишу эту завитушку, чтобы украсить книгу — корявкину повесть, кавалер обезьяньего знака первой степени с хвостиком обезьянской великой и вольной палаты — за доброе книгопечатание возведен на пасху 1922 года в шарлоттенбурге в аффенрате



с. канцелярист

cancellarius алексей ремизов

4. b.

— — что самого удивительного в Петербурге, это вовсе не туманы и не звезды, а ветер.
Туманы проходят, звезды белеют, а ветер — —
Как подымется ветер, да как подует — так вот-вот и свеет — и тебя со всей рухлядью, дом, улицу, всё до твердынь петербургских — от Петропавловской крепости и до Невской лавры.
В Москве есть царь-пушка. А слыхано ль, чтоб на Москве ни с того, ни с сего палили из пушек?

А в Петербурге и в самый неурочный час — поздним вечером, даже ночью.
Как подымется ветер, да как подует, тут из пушки и бахнут —
Но ветер перекричит, переухает всякую пушку
и! — гу—уу—ля—ет!

— — —!

В такую гулянную ветрову ночь в Михайлов день возвращались мы с Павлом Елисеевичем Щеголевым домой с обезьяньих именин от князя обезьяньяго и уставщика обезьянского Михаила Михайловича Исаева.

Павел Елисеевич говорил по-персидски.
И вот на Французской набережной, как сейчас вижу, Петр Иванович Галузин пробирается по бельэтажному карнизу и совсем налегке: в смокинге и без шляпы.
Ничего не соображаю: почему, как и на такой высоте опасной очутился Петр Иванович?
Спрашиваю Павла Елисеевича.
Павел Елисеевич говорит по-персидски.
и! — гу—уу—ля—ет!

— — —!

И вдруг увидел: в закрутившейся ветровой воронке Петр Иванович и опять, как там на карнизе, в смокинге и без шляпы.
И слышу сквозь войвопль и каргаррявь ветра явственно голос Петра Ивановича:
— ка—а—ряв—ка — —

— — —!

Все это может подтвердить и сам Павел Елисеевич.
Ночь ему эта вот как памятна:
в ту самую минуту, как один из ветров, сорвав Петра Ивановича с карниза, швырнул его куда выше Петропавловского шпиля, другой ветер уцепился за Павла Елисеевича, но не осилев — еще бы! — рванул из его рук портфель и, разбрасывая рукописи, понесся вслед за улетавшим Петром Ивановичем.
А портфель, если на глаз прикинуть, не совру, пудов десять так — богатство немалое!
Все подробности о покойном Петре Ивановиче, как и почему очутился он на такой высоте опасной и погиб ни за что, мне рассказал друг его приятель Корявка. Но кто его знает, этот Корявка! — что врёт, что правду.

17 V 1922. Charlottenburg.

Павел Елисеевич Щеголев, историк, один из архивных глав в России, старейший князь обезьяний обезьяньей великой и вольной палаты, живет в Петербурге, сторожит Россию. Евгений Александрович Гутнов, для которого я и пишу эту завитушку, чтобы украсить книгу — корявкину повесть, кавалер обезьяньяго знака первой степени с абзатцом обезьяньей великой и вольной палаты — за доброе книгопечатание возведен на Пасху 1922 года в Шарлоттенбурге в Аффенрате.

б. канцелярист

cancellarius Алексей Ремизов

обезьянья великая и вольная палата.

ПОСВЯЩАЮ

С. П. РЕМИЗОВОЙ-ДОВГЕЛЛО


КОРЯВКА

ВСЯКОМУ человѣку надо, чтобы кто-нибудь имъ восхищался.

Переберите вы всѣхъ вашихъ родныхъ и знакомыхъ, осмотрите ихъ жизнь повнимательнѣе — и ужъ непремѣнно замѣтите, что у каждаго кто-нибудь да найдется, такой пріятель, котораго онъ держится, а держится потому, что тотъ пріятель въ восхищеніи по пятамъ за нимъ ходитъ.

Вотъ почему.

И всякія другія объясненія — ложны.

И объяснять такую связанность человѣческую перевоплощеніемъ, какъ это вздумалъ одинъ вѣрующій въ перевоплощеніе знатокъ, небезызвѣстный Петръ Прокоповъ, значитъ — не больше, не меньше, какъ пальцемъ попасть въ небо.

Ну, посудите сами, ну, я, скажемъ, дружившій съ Корявкой, — Корявка отъ насъ черезъ домъ, я будто бы въ прошломъ воплощеніи былъ Баба-Яга, а мой Корявка для меня — лакомымъ чѣмъ-то, въ ро-

дѣ пѣтушка, и я его, пѣтушка, Корявку лакомую, съѣлъ и на косточкахъ его валялся, и вотъ будто бы по тому-то по самому Корявка за мною и ходитъ, а я его не только что не гоню, хоть онъ мнѣ и совсѣмъ ни на что, напротивъ — я его еще и приваживаю.

Нѣтъ, связанность моя съ Корявой не потому, а какъ разъ по-моему, по этому — по причинѣ страсти восхитительной.

Послѣдній актеръ, третьестепенный писатель, завалящій художникъ — вся эта осла̀ бритвѣ и соль земли, всякій развлекающій публику, и будь ты оборышъ и подонокъ, а и для тебя въ той же самой публикѣ кто-нибудь да найдется, хоть одинъ кто на тебя вотъ такъ посмотритъ, какъ на меня когда-то смотрѣлъ Корявка. Да и всякій и не актеръ, и не писатель, и не художникъ, а человѣкъ, просто человѣкъ живущій — не ломающійся, а глазѣющій, не болтающій, а впитывающій болтовню и вздоръ и нерѣдко самъ сообразно поступающій, не мажущій мазью, а приглядывающійся къ ней, словомъ — огромное большинство, вовсе не мнящихъ себя ослой бритвѣ и солью земли, — вашъ

покорный слуга, вашъ сосѣдъ, первый встрѣчный, все равно кто, все равно, а не могъ бы и дня прожить или, пожалуй, и могъ бы, но какъ! — какъ тускло, какъ безрадостно! — не будь при немъ хоть кого-нибудь, кто бы изрѣдка, по большимъ праздникамъ что ли, по двунадесятымъ, а повосхищался имъ, не будь пріятеля, ну, хоть не такъ смотрящаго, какъ на меня Корявка, а почти . . . почти что такъ.

И Петръ Ивановичъ — вовсе никакой художникъ, Петръ Ивановичъ Галузинъ, мужъ кротокъ и молчаливъ, при всей своей замкнутости и тихихъ и нетихихъ секретныхъ привычкахъ, не буявъ и не величавъ, а имѣлъ-таки себѣ поклонника, и такимъ восхищающимся пѣтушкомъ лакомымъ былъ подлецъ Корявка, промѣнявшій меня не за ломаный грошъ.

И Петръ Ивановичъ былъ вполнѣ доволенъ.

А Павочка . . .

Павочка и представить себѣ не могла, что бы такое было, если бы не восхищались ею!

Стоило только на часъ какой оставить ее одну — и такая вдругъ нападала тоска на нее тоскущая, ей-Богу, будто ужъ въ мірѣ на сырой землѣ ей и мѣста - то не оказывалось, и такой несчастной, такой покинутой становилась она, ей-Богу, смотрѣть жалко! И ужъ для нея, будь ты хоть Лихомъ-одноглазымъ, будь самимъ бѣсомъ Зееѳусомъ, да чѣмъ угодно, а только повосхищайся—и будешь хорошъ.

И будетъ все хорошо.

Павочка такая...

Ну, какъ назвать? — она и не изъ крупныхъ, малюпуська, курносенькая, знамечко тутъ на шейкѣ и пустой-препустой лобикъ, — дѣвчонка.

Я лучшаго ей названія не могъ придумать: дѣвчонка. Только замѣтьте, совсѣмъ это не въ какомъ-нибудь смыслѣ— дѣвчонка! Въ животномъ мірѣ среди кошекъ, милыхъ нашихъ мурокъ, попадаются ну такія кощенки, — вотъ подходящее, вы представляете?

И, гдѣ хотите, ее можете встрѣтить и въ трамваяхъ, и на гуляньѣ, и на лекціяхъ, и на вечерахъ, и въ театрѣ — она непремѣнно въ какомъ-нибудь такомъ платьицѣ

необычайномъ, вся розовенькая, на каблучкахъ и такой препустой - пустой лобикъ, а вокругъ нея франты съ лошадиными лицами — зародится же, прости Господи, народъ такой, съ лошадиными! — а то старичокъ, старикашка тоже сѣменитъ . . . думаешь, что такъ, а окажется — му-ужъ, — вотъ и поди!

Да, гдѣ хотите, съ кѣмъ хотите, гдѣ угодно вы ее можете встрѣтить, она вамъ въ глаза первая бросится.

— Экая, — скажете, — дѣвчонка! — и ротъ до ушей пойдетъ.

Тоже и тамъ бываютъ, я встрѣчалъ и не ночью, а среди бѣла дня . . . на Суворовскомъ у насъ.

Какъ - то въ буднiй день иду и вижу, идетъ, — зимой было, — ничего, все, какъ слѣдуетъ, по-зимнему: ротонда на ней — коза ангорская такая пушистая бѣлая . . . да не идетъ, это мы съ вами идемъ, а она — экая! — она знай себѣ по морозцу-то приплясываетъ.

— Экая шельма дѣвчонка! — не удержался, сказалъ кто-то, и не очень тихо, а весело, за всѣхъ.

— Злая она?

— Нѣтъ.

— Добрая?

— Ну, какъ когда.

— Какая же?

— А думаю я такъ и скажу вамъ словомъ Корявки, сколь разумѣю отъ безумія моего и ума забвеннаго. Случись важное какое міровое открытіе, ну, нашли бы вѣрное средство, предупреждающее нечаянности — несчастія съ людьми, тамъ гдѣ-нибудь на Пулковской обсерваторіи по звѣздамъ вычислили бы, и все до точности, и само собой до точности дознались бы, при какихъ такихъ житейскихъ условіяхъ средство это дѣйствовать будетъ, нечаянности предупреждать, и, скажемъ, такъ, что по условіямъ этимъ потребуется постъ всемірный — должны будутъ люди въ извѣстные сроки и одновременно налагать на себя постъ, или еще что внѣшнее потребуется, напримѣръ, какой-нибудь танецъ глупѣйшій — просто ломаться и кривляться, какъ дѣти, и опять же въ опредѣленный часъ, и чтобы всѣ безъ исключенія, какъ одинъ, и сталобыть, какъ видите, все дѣло, суть всѣхъ условій сведется къ нѣкоторому непре-

мѣнному и неукоснительному исполненію какого-то тамъ обязательнаго для всѣхъ постановленія. И думаю я, что, въ виду важности открытія, любой и самый крысиный изъ самаго крысьяго подполья лишилъ бы себя удовольствія чаю попить съ баранками (баранки, конечно, бублики, съ макомъ; что съ макомъ, что безъ мака, цѣна одна, макъ даромъ!) да и самый поперечный наложилъ бы на себя постъ всемірный, подчинился бы этому всеобщему обязательному для всѣхъ постановленію во имя такого громаднаго или, какъ говорятъ нынче, золотя дутые всякіе пустяки, такого колоссальнаго всеобщаго блага (не забывайте, нечаянности несчастныя будутъ устранены!), но вы не дождетесь и будьте увѣрены, что вотъ такая . . . дѣвчонка такая это обязательное ваше постановленіе обязательно нарушитъ, и просто такъ и совсѣмъ не со зла нарушитъ и совсѣмъ не отъ своей отдѣленности веселой, не говорю ужъ отъ крысиности — никакой крысиной подпольности, ни личной поперечности въ ней и помину нѣтъ: она вся открытая, и въ этомъ смыслѣ чиста, какъ чисто разжженное серебро, нѣтъ, нарушитъ

такъ, просто такъ себѣ. И ты ей хоть лобикъ ея пустой прошиби, что возьмешь? — толку не добьешься. Она только горько заплачетъ . . . Впрочемъ на такую и рука не подымется: вѣдь будь на ея мѣстѣ какой съ лошадинымъ лицомъ, въ такомъ родѣ что-нибудь, тогда, можешь, вгорячахъ, въ злости, изъ ревности къ общему благу и за свою шкуру, да и отъ досады просто, и не удержишься, не совладаешь съ собой да по виску его и кокнешь, но Павочку — нѣ-ѣтъ, я не могу, да и вы не можете, конечно!

Петръ Ивановичъ, такой молчаливый — мужъ смиренъ и кротокъ! — потупляющiйся при встрѣчахъ, такъ что и глазъ-то его путно никто не видѣлъ, какiе они, а вотъ оказывается, лунатическiе, вотъ какiе!

Петръ Ивановичъ съ нѣкоторыхъ поръ, а вы, конечно, догадываетесь съ какихъ, эти загадочные лунатическiе свои глаза перестроилъ на восхищающiеся.

И въ то же самое время отъ Павочки только и слышно стало, что о Петрѣ Ивановичѣ.

— Петръ Ивановичъ — Петръ Ивановичъ — Петръ Ивановичъ!

Петръ Ивановичъ исполнялъ все, чего только ни пожелаетъ Павочка: онъ доставалъ ей всякіе билеты на всевозможныя развлеченія, ну, куда только она хотѣла, онъ дѣлалъ все, лишь бы угодить Павочкѣ.

И это у всѣхъ на глазахъ и въ живой памяти. И началось безъ году недѣля. И началось при обстоятельствахъ весьма странныхъ.

У Ерыгиныхъ только и говорили, что о таинственныхъ шагахъ.

Изъ ночи въ ночь слышались шаги въ коридорѣ:

кто-то съ большой осторожностью проходилъ по ковру въ коридорѣ отъ гардеропа къ окну и обратно.

Кто ходилъ и зачѣмъ въ такой полуночный часъ и жуткій? — терялись въ догадкахъ.

А въ сущности-то говоря, некому и незачѣмъ ходить было.

И вотъ кто-то ходилъ, кому-то надобилось, и Богъ знаетъ, для чего въ такой жуткій полуночный часъ.

Слышалъ шаги Миша, слышала Веточка, слышала сама Миропія Алексѣевна.

— Воры?

— Какіе же воры! Все было цѣло-цѣлехонько, и хоть бы шпилька съ пола пропала.

— Прислуга?

— И опять нѣтъ, — ну, зачѣмъ прислугѣ таскаться въ такой часъ и въ такомъ непоказанномъ мѣстѣ? — прислугѣ ночью не до гулянокъ! И притомъ всѣхъ спрашивали, и даже не одинъ разъ, и никто, конечно, не знаетъ, и не ходилъ, и не слыхалъ, — спятъ крѣпко.

— Можетъ, у васъ въ коридорѣ такое мѣсто? — пытались сочувствующіе деликатно разрѣшить ерыгинское недоумѣніе и ужъ сразу покончить со всякой таинственностью.

— Ничего подобнаго! — даже обижалась Миропія Алексѣевна.

Ее хоть и больше всѣхъ безпокоили эти шаги, нарушавшіе долголѣтній миръ ея ладной дачи, но такое черезчуръ житейское объясненіе вѣдь не оставляло ровно ничего отъ всей таинственности, какъ-никакъ, а событія знаменательнаго.

Петръ Ивановичъ, гостившій на дачѣ у Ерыгиныхъ, ничего не слышалъ, никакихъ таинственныхъ, ни нетаинственныхъ шаговъ, не слышала и Павочка, двоюродная сестра Ерыгиныхъ, тоже гостившая въ Павловскѣ.

Но и Петръ Ивановичъ и Павочка такъ же мало были къ шагамъ причастны, какъ и сама Миропія Алексѣевна.

— Кто же?

— Кто ходилъ ночью по коридору?

— Это ты, Миша? — рѣшилась-таки изъ послѣдняго своего отчаянія бѣдная Миропія Алексѣевна спросить сына.

Можетъ, Миша подтруниваетъ надъ нею и надъ всѣми?

Миша непремѣнно бы обидѣлся, будь съ его стороны и вправду хоть что-нибудь нечисто, но тутъ и по правдѣ все было начистоту: онъ и не думалъ ходить по ночамъ пугать домъ, онъ себѣ самъ ломалъ голову не меньше самой Миропіи Алексѣевны, и не меньше Миропіи Алексѣевны ему самому хотѣлось дознаться, разрѣшить наконецъ эту ничѣмъ необъяснимую таинственность.

А вѣдь быть того не можетъ, чтобы не было виноватаго!

— Да позвольте, — нашлась Веточка, — Веточка за зиму начиталась всякихъ книжекъ о всякихъ таинственностяхъ, и отвѣтъ у нея былъ готовъ, — да все это

очень просто: это астральное тѣло ходить!

— Астральное?

— Конечно, астральное, а больше некому.

Веточка была права.

И всѣ съ Веточкой согласились, и на нѣкоторое время о шагахъ какъ будто и забылось.

Но это не такъ: чѣмъ ближе подходилъ вечеръ, а за вечеромъ бѣлая ночь, тѣмъ вспоминались шаги больше, и ужъ никакой и самый изъ всѣхъ самый правдоподобный отвѣтъ не могъ успокоить.

И пусть ходило астральное тѣло, но чье?

Кому оно принадлежало?

Кто ходилъ?

— Чьи же шаги? — спрашивала Миропія Алексѣевна и отъ своего вопроса впадала въ еще большее безпокойство.

И какими невозвратно-счастливыми, какими невозможно-пріятными представлялись ей всѣ тѣ прошлые дни — начало

Павловскаго лѣта, и она, избезпокоившись, ужъ рѣшалась просто сняться съ насиженнаго лѣтняго своего гнѣздышка и по-осеннему вернуться въ Петербургъ на свою зимнюю Французскую набережную, — она не могла больше слышать изъ ночи въ ночь повторяющухся, ничѣмъ необъяснимыхъ, полуночныхъ шаговъ.

А Миша свое думалъ.

„Вотъ подкараулю, — думалъ Миша, — внезапно настигну, хвать — и поймаю съ поличнымъ!“

Съ тѣмъ Миша и ложился, съ этой хватальной мыслью, и когда подходилъ часъ астральныхъ шаговъ, эта хватальная ночная мысль не покидала его, но онъ не вставалъ, а съ замиравшимъ сердцемъ прислушивался, потомъ, овладѣвъ собой, закуривалъ папироску и курилъ, пока не затихало.

Услышалъ наконецъ шаги и Петръ Ивановичъ.

Услышала наконецъ шаги и Павочка.

Павочкѣ было очень страшно, но любопытство въ ней загорѣлось сильнѣе страха.

А Петръ Иванвичъ сперва провѣрилъ: слышитъ онъ или такъ ему кажется?

И для этого, хоть и бѣлая ночь, зажегъ свѣчку. И оказалось, точно слышитъ: кто-то ходилъ по коридору, — слышитъ, слухъ его не обманывалъ. Конечно, никакое астральное, а самое настоящее осязаемое тѣло о двухъ человѣческихъ ногахъ, и не мертвое.

Таинственныя явленія допускалъ Петръ Ивановичъ исключительно и только въ крещенскіе вечера, а кромѣ того, держался того убѣжденія, что вообще мертвое тѣло ходить и говорить не можетъ.

*

Послѣ завтрака, когда Петръ Ивановичъ по обыкновенію вышелъ прогуляться въ паркъ, а Ерыгины остались одни, и само собой и Миропію Алексѣевну, и Мишу, и Веточку, и Павочку — всѣхъ занималъ единственный теперь вопросъ о шагахъ.

— А я знаю, — сказала Павочка, — кто ходитъ!

Въ другое бы время никто на Павочку и не обратилъ вниманія, но тутъ ловили всякую разгадку, и всѣ, какъ одинъ, отозвались:

— Ну, кто же?

— Да Петръ Ивановичъ! — улыбалась Павочка алымъ ротикомъ.

— Что́ за вздоръ! Петръ Ивановичъ...

— Да вѣдь онъ же лунатикъ!

— Лунатикъ?

— Конечно, — улыбалась Павочка, — и глаза у него лунатическіе.

А передъ обѣдомъ къ Миропіи Алексѣевнѣ заходила экономка Оня, женщина хоть и подъ пятьдесятъ, а съ большой игрою.

И шепталась съ Миропіей Алексѣевной не о пьющемъ поварѣ, а о проклятыхъ полуночныхъ шагахъ — ихъ ужъ всѣ нынче слышатъ, вся прислуга и даже самъ пьющій Семенъ-поваръ.

И думаетъ она на барина, что чужой это баринъ, никому другому.

— Очень они молчаливы, — шептала Оня, — и говорятъ тихо!

И за обѣдомъ всѣ особенное обратили вниманіе на Петра Ивановича, на его глаза особенно.

И хотя глаза Петра Ивановича, если ужъ по правдѣ сказать, ничѣмъ особеннымъ и не выдавались — ни выпуклостью своей, ни рѣсницами — сомнѣнія ни у кого не было, что глаза лунатическіе.

А вмѣстѣ съ глазами поставлено ему было на видъ и молчаливость его и его необыкновенно тихій голосъ.

Конечно, Петръ Ивановичъ — лунатикъ, и, конечно, это онъ ходитъ ночью, — тутъ и говорить нечего, и спору нѣтъ.

И ужъ какъ послѣднее и самое вѣское доказательство, принято было во вниманіе и то обстоятельство, что вѣдь только одинъ Петръ Ивановичъ шагъ въ не слышалъ, когда весь домъ, всѣ слышали, и даже пьющій Семенъ-поваръ, а потому не слышалъ, ну, потому, что самъ и ходилъ.

И, надо сказать правду, тутъ Петръ Ивановичъ самъ въ грѣхъ ввелъ: и почему ни словомъ не обмолвиться хотя бы о своихъ ночныхъ провѣркахъ? И

когда заходила рѣчь о догадкахъ, небось, сидѣлъ, словно воды въ ротъ набралъ!

А разъ такъ — пеняй на себя.

*

Съ этихъ поръ отношеніе къ Петру Ивановичу естественно измѣнилось.

При немъ держались какъ-то на вытяжку, неестественно, стали къ нему необыкновенно внимательны, а посматривали очень не безъ тревоги.

Лунатикъ вѣдь не только можетъ ходить по коридору въ непоказанные часы, лунатикъ можетъ и не по коридору, а и по всякимъ мѣстамъ прохаживаться опаснымъ, — по карнизамъ; но это еще съ полбѣды, главное же то, что лунатикъ можетъ такую штуку выкинуть самую неожиданную, какое угодно преступленіе и самое звѣрское совершить можетъ въ своемъ лунатическомъ видѣ, и совсѣмъ безнаказанно.

Что говорить, положеніе Ерыгиныхъ, пригласившихъ къ себѣ на дачу погостить такого страннаго страшнаго гостя, было не изъ завидныхъ.

— А развѣ раньше-то за Петромъ Ивановичемъ никто-таки ничего такого не замѣчалъ?

— Никто ничего, даже и думать-то не думали.

— Какъ же такъ?

— Да такъ, видно, случая не было.

Больше всѣхъ упрекала себя Миропія Алексѣевна за свою оплошность — она и пригласила Петра Ивановича, и она же первая всѣмъ и каждому его расхваливала, его скромную молчаливость и особенный, дѣйствующій благопріятно на нервы, успокаивающій его голосъ!

И встр воженные глаза ее выдавали.

Не отличавшійся особо выдающимся чутьемъ и проникновіемъ, Петръ Ивановичъ понять хоть и ничего не понялъ, однако забезпокоился.

И еще больше забезпокоился, когда замѣтилъ, что съ нѣкоторыхъ поръ при его появленіи какъ-то загадочно примолкали и ужъ очень усиленно справлялись о здоровьѣ, и притомъ у всѣхъ было въ глазахъ что-то и участливое, а вмѣстѣ и тревожное.

И все это въ концѣ концовъ приписалъ Петръ Ивановичъ угнетающимъ ночнымъ шагамъ, о которыхъ, само собой, продолжалъ изъ деликатности отмалчиваться.

„Конечно, передъ нимъ, какъ гостемъ, Ерыгинымъ было неловко, вотъ они и старались какъ-нибудь да загладить эту свою неловкость!"

Такъ соображалъ Петръ Ивановичъ.

Но соображеніе это мало въ чемъ примирило его.

Онъ безпокоился, онъ, какъ и всѣ въ домѣ, ночь спалъ плохо, онъ все прислушивался, его, какъ и всѣхъ, шаги изводили, и, какъ всѣхъ, заполняла одна хватальная мысль:

подкараулить виновника, если таковой дѣйствительно имѣлъ образъ человѣческій, т. е., пару ногъ, пару рукъ обязательно, и вѣнецъ — голову, да подкарауливъ, и поймать.

*

А въ то же самое время Ерыгины и съ ними Павочка положили свое твердое и неизмѣнное рѣшеніе, ужъ во что бы то ни стало, а подкараулить... Петра Ивановича.

И въ домъ вошло что-то заговорщицкое, подозрительное, наступило какое-то осадное положенiе:

Что-то очень ужъ всѣ молчаливы стали, рано стали расходиться по своимъ комнатамъ и затихать какъ-то особенно, подозрительно, и хоть спать и ложились, но и безчувственный почувствовалъ бы, что никто и не собирался спать.

Если бы только зналъ П тръ Ивановичъ, что все дѣло въ немъ, что п - дозрѣваютъ его, да ужъ не то, что подозрѣваютъ, а увѣрены въ хожденiи его ночномъ, — да онъ вопреки всей своей молчаливости и замиравшему, дѣйствующему благопрiятно на нервы, успокаивающему голосу, нашелъ бы въ себѣ и вопiющiй гласъ и разговорность щечилы.

Но откуда ему что́ знать?

И, улегшись въ постель и на минуту замечтавъ о тихомъ лѣтнемъ снѣ, онъ вдругъ поднялся и притаился у двери.

И въ то же самое время сосѣди его, тоже безполезно провалявшись въ кроватяхъ съ отчаянной мыслью о снѣ прiятномъ, поднялись къ своимъ дверямъ на караулъ —

И вотъ около полночи послышались шаги . . .

И не одно сердце упало отъ нетерпѣнія.

Петръ Ивановичъ, по собственному его набюденію, раньше другихъ услышалъ шаги: онъ услышалъ ихъ еще издалека отъ окна, широкіе медвѣжьи.

И тотчасъ выскочилъ въ коридоръ —

И никакое астральное, никакое тѣло мертвое — здоровенный парнюга, новый ерыгинскій садовникъ Григорій пробирался по коридору къ комнатѣ экономки Они, вотъ кто!

И быть бы бычку на веревочкѣ, ужъ готовъ былъ Петръ Ивановичъ сцапать Григорія и вдругъ, какъ вкопанный, сталъ:

прямо противъ него въ такомъ же ночномъ, какъ и онъ, видѣ, стояла у своей двери Павочка, раскрывъ свой алый ротикъ.

*

Никакихъ таинственныхъ исторій Петръ Ивановичъ за собой не зналъ, если не

считать единственнаго случая, оставшагося памятнымъ ему и черезъ много лѣтъ.

Однажды вечеромъ — это было въ Черниговѣ лѣтомъ — Петръ Ивановичъ попалъ на ярмарку и, переходя отъ одной палатки къ другой и разсматривая всякія ярмарочныя диковинки, дошелъ до цыганъ.

У палатокъ чадили костры, видно было, ужъ готовились на ночлегъ. И онъ пожалѣлъ, что поздно: пѣсенъ ему не послушать и на цыганъ не поглазѣть.

И вдругъ увидѣлъ передъ собой цыганку, — она передъ нимъ точно изъ подъ земли выросла:

— Дай твою руку!

И такъ это неожиданно, что Петръ Ивановичъ готовъ былъ не одну, а обѣ руки отдать въ темную цыганскую руку.

Что-то приговаривая, чего и не поймешь никакъ, цыганка потянула его руку къ себѣ — къ груди, увѣшанной золотомъ, и выше, къ подбородку.

А лицо ея — лицо ея чѣмъ-то жуткое, словно выточенное — и ничѣмъ не возьмешь и ничѣмъ не покоришь, какъ восковой, мертвый лобъ, а глаза ея непреклон-

ные, она глядѣла въ упоръ, не на руку — она его и руку взяла, чтобы только мучить въ своей рукѣ, довести до губъ и отпустить.

Измученный, стоялъ онъ...

Или такъ всю жизнь и стоять бы ему, или ужъ вырваться, затеряться въ подвыпившей ярмарочной толпѣ?

— Позолоти ручку! Позолоти ручку! — настойчиво повторяла она и безусловно.

И отпускала его руку, и опять подводила къ губамъ, чуть-чуть касалась губами.

И никуда онъ не убѣжалъ, а полѣзъ въ карманъ за кошелькомъ.

И когда звякнуло серебро, — цыганята, цыганки, и молодыя и старыя, почуя добычу, повыскакали изъ палатокъ и, галдя и гакая, навалились на него и чьи-то крѣпкія руки и теплыя обняли его сзади.

— Хочешь, я тебѣ на двѣнадцать жилъ пропляшу? Хочешь? — дула въ ухо цыганка.

Но онъ не видѣлъ ея, онъ только ту видѣлъ, свою, неподступную и непокоримую, свою Машу.

Вотъ единственный случай таинственный: цыганка Маша.

И теперь, когда въ домѣ всякіе шаги утихли, а отъ тѣхъ изводящихъ и слѣда не осталось, Петръ Ивановичъ, засыпая, почему-то вспомнилъ этотъ таинственный свой случай, свою цыганку Машу, ея непреклонные глаза и она такая одна, ни на кого не похожая, Маша слилась въ его воображеніи съ Павочкой, розовенькой и курносенькой, съ милымъ знамечкомъ и алымъ ротикомъ, — и Богъ знаетъ о чемъ замечталось Петру Ивановичу.

Ему хотѣлось, чтобы и опять услышать полуночные шаги и опять встрѣтить Павочку, какъ стояла она въ коридорѣ у своей двери съ раскрытымъ алымъ ротикомъ!

И только подъ утро, совсѣмъ размечтавшись, заснулъ сладко Петръ Ивановичъ, а снилась ему канитель и чепуха всякая — снился экзаменъ по математикѣ: вынимаетъ онъ изъ кучки билеты, а билеты будто все листы ветчинные.

Не ветчинные листы — билеты, свое снилось Павочкѣ и такое лѣньливое:

ей снился мохнатый бокъ, сѣрый, свѣтящійся — спрячется и покажется, а ни головы, ни передка, ни заднихъ ногъ, одинъ этотъ бокъ, сѣрый, свѣтящійся — спрячется и покажется.

И проснулась Павочка, день ужъ сталъ, а ей хотѣлось и еще поваляться, потянуться, помечтать о чемъ-то.

И она вспомнила о Петрѣ Ивановичѣ.

Вотъ интересно!

Вотъ и ей пришлось увидѣть: лунатикъ настоящій, можетъ прохаживаться по всякимъ опаснымъ мѣстамъ, — по карнизамъ, и вовсе не страшно!

Вотъ будетъ интересно!

И она скоренько поднялась.

*

А еще съ утра, когда всѣ спали, Миропія Алексѣевна творила судъ и расправу.

Повинилась экономка Оня: она и сама не знаетъ, что у нея въ головѣ.

И садовникъ повинился Григорій: погубила его Анисья Семеновна!

Такъ все было выведено на чистую воду, — Миропія Алексѣевна осталась очень довольна и всѣмъ простила.

И хотя теперь все было ясно, и о таинственности не могло быть и рѣчи, а стало-быть, и подозрѣнія всякія о лунатическомъ хожденіи Петра Ивановича сами собой пали, — убѣдить Павочку, что это такъ, а не этакъ, было невозможно.

И для Павочки навсегда остался лунатикъ —

Петръ Ивановичъ — лунатикъ!

Павловская дача къ концу лѣта осиротѣла.

Ерыгины уѣхали въ Карлсбадъ и съ ними Павочка, а Петръ Ивановичъ въ Петербургъ переѣхалъ къ себѣ на Пушкинскую.

Петръ Ивановичъ служилъ въ комиссіи по реформѣ обмундированія, — мѣсто благополучное, служба спокойная.

Въ подчиненіи сидѣли у него всякіе писцы, а начальникомъ надъ нимъ былъ совѣтъ изъ генераловъ, генералы собирались не очень часто, командой не докучали.

Лѣтомъ бывало и совсѣмъ тихо:

лѣтомъ, какъ извѣстно, отдыхать полагается, силъ на зиму набираться — дѣло не убѣжитъ!

Лѣтомъ разъѣзжались генералы кто на дачу, кто въ имѣніе, кто на воды лѣчиться, и одинъ оставался Петръ Ивановичъ.

Въ будній день послѣ занятій Петръ Ивановичъ обѣдалъ, потомъ, отдох-

нувъ, шелъ гулять и, нагулявшись, заходилъ куда-нибудь въ кофейню и тамъ въ кофейнѣ просиживалъ до глубокаго вечера.

Въ воскресенье и въ праздникъ онъ ходилъ по гостямъ: знакомыхъ домовъ ему хватало на мѣсяцъ.

Петра Ивановича вообще любили и за его тихость и за его дѣйствующій благопріятно на нервы успокаивающій голосъ: когда онъ говорилъ, онъ словно умиралъ — чего-жъ успокоительнѣй! — кто-кто, а помирающій ни взволновать, ни раздражить не можетъ, это живой — смутьянъ, пила и досада!

И внѣшность у Петра Ивановича внушала довѣріе: это не какой-нибудь бритый, не поймешь, кто, — носилъ Петръ Ивановичъ бороду, а борода — кому-жъ не знать! —

— Борода есть священное украшеніе мужчины.

Въ извѣстные сроки Петръ Ивановичъ отдавался своимъ нетихимъ секретнымъ привычкамъ: вечеромъ изъ кофейной шелъ онъ не прямо по Невскому на свою Пушкинскую, а обходной доро-

гой — по Садовой, потомъ выходилъ на Вознесенскій...

И Богъ знаетъ почему вспоминалась ему всякій разъ Маша-цыганка.

И ужъ на слѣдующій день послѣ гульной ночи бывалъ онъ необыкновенно въ добромъ духѣ, и отъ этой доброты что ли, его наполнявшей, или еще отъ чего, онъ тихонечко напѣвалъ.

Нетихія секретныя привычки были теперь отъ него далеки: онъ даже и представить себѣ не могъ, какъ бы это такъ вышелъ онъ на Вознесенскій.

И Маша ему не вспоминалась.

Одна единственная была въ его мысляхъ Павочка —

Павочка не выходила изъ головы —
И онъ повторялъ ея имя:

— Павочка, любилочка моя!

Подымался онъ, какъ пьяный, хотя пить и ничего не пилъ, курить — курилъ, былъ грѣхъ, и курилъ больше, чѣмъ всегда, но не отъ курева же пьянѣлъ? — отъ чувствъ, отъ любви.

— Павочка, любилочка моя!

Ляжетъ, возьметъ книгу на сонъ грядущій, — прежде, бывало, съ книжкой какъ засыпалъ онъ дружно, и чѣмъ интереснѣе была книга, тѣмъ дружнѣе сонъ нагоняла, а вотъ и книга не помогаетъ, да и не до книги ему, и лежитъ ночь безъ сна съ открытыми глазами.

— Павочка, любилочка моя!

И это чувство знойнымъ голосомъ Маши его томило.

Чего онъ хотѣлъ?

Да чтобы осень скорѣе, чтобы зима пришла и снѣгъ, — будетъ онъ часто бывать у Ерыгиныхъ, снова увидитъ Павочку, онъ только и хочетъ видѣть Павочку.

Чувство его было такъ полно, до самыхъ краевъ.

И при всей своей молчаливости Петръ Ивановичъ рвался кому-нибудь открыться, ну хоть намекомъ намекнуть, хоть полусловомъ сказать, имя повторить любимое — Павочки.

А такимъ другомъ сердечнымъ и попался ему Корявка.

*

Корявка служилъ въ сенатскомъ архивѣ и былъ тамъ единственнымъ чиновникомъ.

И службы у него собственно никакой не было: архивныхъ дѣлъ не спрашивали.

И только съ учрежденіемъ комиссіи одинъ изъ начальниковъ Петра Ивановича, старичокъ-генералъ, любитель отечественной исторіи, сталъ требовать старыя дѣла. Правда, дѣятельность эта длилась не очень долго — надоѣло ли старику, или время не позволяло, но еще весной поручилъ генералъ всю подготовку дѣлъ Петру Ивановичу.

Съ единственнымъ Петромъ Ивановичемъ Корявка и входилъ въ дѣловое общеніе: для него и дѣла заготовлялъ, отъ него же и обратно ихъ принималъ въ архивъ и, скажу ужъ, частенько неприкосновенныя.

Службу свою Корявка считалъ безнадежной: повышенія онъ себѣ не могъ ждать — повышать и некуда было, да и

прибавки ему никакой не полагалось — окладъ разъ навсегда утвержденъ.

И, сидя за пустымъ столомъ, въ одиночку, безъ всякаго дѣла и безнадежно, Корявка предавался мудрованію.

И, конечно, лучшаго собесѣдника Петръ Ивановичъ и не могъ найти.

*

Была та же изводящая скука, безъ которой немыслимо себѣ представить прославленнаго курорта — Карловыхъ варъ.

Миропія Алексѣевна, проходившая курсъ карлсбадскаго лѣченія, цѣлый день занята была всякими источниками, ваннами и лежаніемъ съ грязевымъ мѣшкомъ, но Павочка, которой волей-неволей пришлось подчиниться общему режиму и даже ни свѣтъ, ни заря подыматься, первое время очень пріуныла.

И ее нисколько не занимали чудесные разсказы о чудодѣйственныхъ источникахъ — пьющіе цѣлебную воду будто бы теряли въ вѣсѣ чуть ли не по пуду ежедневно! — и не менѣе чудесная повѣсть о Петрѣ, какъ Петръ, будучи въ Карлсбадѣ, высиживалъ въ огненной шпруделевой

ваннѣ ни много, ни мало круглыя сутки, тѣмъ и лѣчился; ее не удивлялъ и старый еврей — карлсбадское чудо — вотъ уже пятнадцать лѣтъ выпивавшій этого шпруделя по шестьдесятъ стакановъ въ сутки и безъ всякаго стѣсненія; она скучала отъ пуповской музыки, симфоническихъ концертовъ и гранатныхъ магазиновъ.

Всѣ, кромѣ нея, дрожали надъ своими кружками, и въ этихъ кружкахъ было все.

Но, для Павочки, хоть и въ послѣднюю недѣлю, а нашлось развлеченіе; появились родственники и знакомые, и притомъ такіе, какъ и Павочка, пріѣхавшіе не совсѣмъ для лѣченія, и ужъ восхищающихся оказалось столько, сколько и не мечталось.

А вѣдь для Павочки въ этомъ была своя кружка, и большаго развлеченія ей не понадобилось.

А что же Петръ Ивановичъ, такъ-таки она его и забыла?

Ну, зачѣмъ забывать? — ничуть.

Все-таки поклонники ея были самыми обыкновенными поклонниками, а Петръ

Ивановичъ — лунатикъ, она этого не могла забыть, она его не забыла.

Но и не вспоминала.

*

Когда Павочка была гимназисткой, она водила за собой цѣлую стаю...

И кто только въ нее не влюбился!

Да и невозможно было пройти равнодушно — одно ея личико въ такомъ нѣжномъ, тонкомъ пушку, а вздернутый носикъ такой задорный, и знамечко тутъ на шейкѣ, и коса до колѣнъ, и такая она вся румяная, лѣтомъ отъ солнца, зимой отъ мороза, и такая радостная своей юной радостью и оттого, что хвостъ за нею влюбленный, и она во всѣхъ влюблена, и при томъ на все надо такъ выхитриться, чтобы не замѣтила ни классная дама, ни начальница.

Но это не все, — помните, какъ Павочка умѣла ходить?

Она какъ-то особенно, по своему переставляла ноги, думала: очень изящно, — возможно, и было изящно, только совсѣмъ это изъ другого.

Когда ей пришла въ голову мысль ходить такъ особенно, такъ по-своему переступая, случилось на первыхъ порахъ несчастье — она поскользнулась передъ окнами своей симпатіи - гимназиста и упала въ лужу; еще слава Богу, что отдѣлалась слезами, а могло бы кончиться чѣмъ и похуже.

Теперь-то, будьте покойны, не поскользнется, а иначе и ходить не можетъ, какъ только такъ, такъ переступая по-своему. И отъ этой рискованной ея походки поклонниковъ у нея еще прибыло.

Каждый гимназистъ обязанъ былъ дать ей свой серебряный гербъ, и съ какой радостью показывала она полную шкатулку, и, кажется, не было герба, который не считалъ бы своимъ счастьевъ попасть въ Павочкину шкатулку!

Подруги Павочку любили.

Павочка и веселая, Павочка и пѣвунья, Павочка и проказница — и разсмѣшитъ и чѣмъ угодно представится!

Всякій день передъ уроками собираются гимназистки въ большую залу на молитву, Павочка — съ камертономъ, она даетъ тонъ и управляетъ хоромъ:

она ударитъ камертономъ себѣ по пальцу, поднесетъ къ уху, пропоетъ тихонько: до-ля-фа! — и начинаютъ „Отче нашъ“; и опять ударитъ камертономъ себя по рукѣ, поднесетъ къ уху и ужъ пропоетъ тихонько: рэ-си-соль! — и хоръ поетъ „Преблагій Господи!“

Павочка управляетъ и въ то же время строитъ самыя такія рожи и подсмѣивается, смѣшитъ хоръ — ей-то ничего, она спиной стоитъ къ начальницѣ, это хоръ у всѣхъ на глазахъ! — и она знай смѣшитъ, и тогда смѣшитъ, когда и управлять не надо — въ концѣ молитвы.

Затѣмъ, обернувшись къ иконѣ, истово крестится и кланяется низко, а за то и считаетъ ее начальница благочестивой.

И всякое воскресенье по тому же благочестію своему Павочка ходила въ гимназическую церковь — ей было весело переглядываться и перемигиваться съ гимназистами.

А какъ пріятно видѣть столько, столько восхищенныхъ глазъ!

Павочка любила кружить и кружила.

Но трагическихъ происшествій отъ этихъ круженій никакихъ не бывало: подъ поѣздъ никто не ложился.

Съ Павочкой бывало весело, съ Павочкой не соскучишься, а надоѣстъ — уходи, твое мѣсто пустовать не будетъ.

И тебя не вспомнятъ...

*

Если бы только зналъ Петръ Ивановичъ!

Но куда ему что знать, — онъ былъ полонъ самыхъ радужныхъ надеждъ.

Съ Корявкой, теперь неразлучнымъ, онъ строилъ счастливые планы, какъ женится, конечно, на Павочкѣ, и какъ наступитъ у нихъ райская семейная жизнь.

Онъ присмотрѣлъ квартиру, и не по газетному объявленію и не черезъ контору, а по своему глазу и на свой вкусъ вмѣстѣ съ Корявкой, присмотрѣлъ очень подходящую въ новомъ достраивающемся домѣ на Каменностровскомъ: тутъ имъ будетъ и къ островамъ поближе и къ Ботаническому саду, а мостовъ ни онъ, ни Павочка не боятся, это Корявка боится.

Ну, ничего, Корявка перебоится, — и все обойдется. Притомъ же Корявка не

всякій день, а лишь по праздникамъ будетъ приходить къ нимъ на Каменностровскій обѣдать.

Присмотрѣлъ и обстановку — было бы благоразумнѣй загодя теперь же все и купить, а то осенью и цѣны подымутся, осенью всякому нужно, и цѣна кусается, да такъ и хотѣлъ сдѣлать, но Корявка отсовѣтовалъ:

будто бы гдѣ-то на углу Симеоновской и лучшую и дешевле можно будетъ купить впослѣдствіи.

Этотъ Корявка!

Выбралъ обручальныя кольца и заказалъ себѣ перстень: будетъ фамильнымъ — на трое колотъ, на четверо строганъ и золотомъ наливанъ, — вотъ какой!

А Корявкѣ посулилъ часы съ кукушкой — завѣтная мечта Корявки!

Всякій день, возвращаясь со службы, заходилъ Петръ Ивановичъ на Французскую набережную справиться, нѣтъ ли какихъ вѣстей?

Въ свою очередь, и Корявка ежедневно справлялся.

Вѣсти были самыя благопріятныя: скоро!

Частенько Петръ Ивановичъ писалъ Павочкѣ письма. Но отвѣта не получалъ.

Или не доходили его письма?

Безотвѣтность начинала смущать.

Но утѣшилъ Корявка.

Корявка все знаетъ и не такой, чтобы сказать нитунисъ.

Во-первыхъ, что сановники, что дамы, и не обязаны отвѣчать, — это правило вывелъ Корявка изъ опыта великихъ людей и, должно быть, изъ собственнаго...

О сановникахъ я не знаю, что же касается дамъ — клевета. Ибо нѣтъ на свѣтѣ такого Корявки, который не получилъ бы отъ дамы и не одинъ, а дюжину самыхъ сердечныхъ отвѣтовъ.

Ну, ладно, а, во-вторыхъ, какіе же могли быть отъ Павочки отвѣты, когда все было ясно!

*

Если бы только зналъ Петръ Ивановичъ...

Павочка его даже и не вспоминаетъ!

У нея столько теперь, столько всякихъ новыхъ поклонниковъ, о комъ она хоть одну минуту подумать соберется — они съ нею, близко, ихъ она видитъ, а вѣдь

Петръ Ивановичъ, Богъ знаетъ гдѣ, такъ отъ нея далеко. А такъ на разстояніи она не привыкла и не можетъ, — у нея такая ужъ душа близкая.

Конечно, она его никогда отъ себя не отгонитъ, въ этомъ онъ можетъ быть покоенъ.

Она не отгонитъ, если бы даже вдругъ оказалось, что онъ и не лунатикъ: она никого отъ себя не отгоняетъ, и самому Корявкѣ нашлось бы при ней мѣсто, и будь Корявка посмѣлѣе и рѣшись, да она и о Корявкѣ хоть и на одну минутку, а подумала-бъ такъ.

Замужъ, конечно, ни за Корявку, ни за Петра Ивановича Павочка не пойдетъ.

За Птера Ивановича замужъ?!

Да и Миропія Алексѣевна едва ли найдетъ подходящимъ, Миропія Алексѣевна ужъ давно про себя рѣшила, за кого ей Павочку выдать. И тутъ она не ошибается. Миропія Алексѣевна племянницу свою, какъ родную дочь, любитъ, у Павочки отецъ умеръ, а мать ея въ Орлѣ съ сыномъ, Павочка все у тетки, Павочка для Миропіи Алексѣевны, какъ своя.

„Павочка выйдетъ замужъ, она будетъ блестящимъ украшеніемъ семейнаго очага!“

*

А вѣдь для Петра Ивановича... сами понимаете, какъ онъ ее любилъ! — эта любовь его къ Павочкѣ, по слову Корявки, какъ желѣзо къ магниту.

Вотъ онъ, въ первый разъ полюбившій, — и эта любовь не та... у цыганскихъ палатокъ къ Машѣ, — тутъ его словно связало,—больше!—срастило съ нею, съ существомъ ея, и онъ нераздѣленъ съ нею, какъ нераздѣленъ еще не родившійся ребенокъ съ матерью, и никакой оскордъ, никакая сѣкира не отсѣчетъ его, развѣ смерть?

Или и смерть тутъ не можетъ, и съ концомъ ничего не кончится?

— Алексѣй Тимоѳеевичъ, ты понимаешь?

Еще бы!

Не понять Корявкѣ!

Корявка по его собственнымъ тайнымъ думамъ о себѣ былъ наполненъ премудрости, — какъ злата и бисеру изнасыпанъ, и разумомъ смысленъ! — Корявка могъ ста-

новиться на всякую точку зрѣнія и сочувствовать всякимъ чувствамъ, и самымъ противоположнымъ.

— Вотъ вы и женитесь, Петръ Ивановичъ.

— У меня, Алексѣй Тимоѳеевичъ, такое чувство, будто всякій день Вербное воскресенье... Всякое утро я встаю съ этимъ вербнымъ чувствомъ. А вотъ закрою глаза — и будто я гдѣ-то въ саду: осень — послѣдніе цвѣты... георгины.

— Женитесь, Петръ Ивановичъ, дѣточки у васъ пойдутъ.

Корявка, пряменькій, маленькій смотрѣлъ съ восхищеніемъ.

— Назову я старшаго Александромъ, а второго Святославомъ, а третьяго...

— Маленькіе толстенькіе такіе.

— А третья будетъ у меня дочка — Павочка. Я, Алексѣй Тимоѳеевичъ, вѣрую въ Бога. Богъ меня любитъ! Вотъ я и не думалъ о такомъ счастьѣ, а Богъ и послалъ.

— Все отъ Бога, Петръ Ивановичъ.

— Старшій, Александръ, будетъ у меня богатырскаго сложенія, вотъ какой!

— Александръ Великій! — Корявка тянулъ себя за свою козью бородку, — и я, какъ Сенека, Петръ Ивановичъ, буду ему служить!

— То-есть ... какъ Гераклитъ.

— Сенека, Петръ Ивановичъ, — какой Гераклитъ! — всегда былъ Сенека, великій учитель. При святомъ князѣ Владимірѣ — Несторъ Лѣтописецъ, при Петрѣ Великомъ — Арапъ Петра Великаго, при Александрѣ Македонскомъ Сенека находился.

— Будетъ онъ у меня министромъ, съ докладомъ будетъ ѣздить къ государю, а я такъ около съ палочкой. Скажетъ онъ: папа!

— Маленькіе такіе, толстенькіе ... Я дѣточекъ очень люблю, Петръ Ивановичъ.

— Со временемъ и тебя, Алексѣй Тимоѳеевичъ ...

— Нѣтъ, Петръ Ивановичъ, скажу вамъ, какъ передъ Богомъ, я жениться не думаю. Я такъ какъ-нибудь ужъ. Вы, Петръ Ивановичъ, человѣкъ сложный, вамъ все можно.

Корявка не хочетъ жениться!

Удивительное дѣло!

И какъ такъ можно не хотѣть жениться, когда вотъ онъ, Петръ Ивановичъ, только и думаетъ объ этомъ, только этого и ждетъ, только и видитъ себя...

— Нѣтъ, Алексѣй Тимоѳеевичъ, ты — ненормальный человѣкъ, тебя надо лѣчить, вотъ что!

Корявка хихикалъ.

Корявка все понимаетъ.

Корявка соглашался.

Корявка понималъ, что отъ любви дурного ничего не можетъ выйти, и совѣтъ Петра Ивановича благой, и онъ готовъ итти къ доктору лѣчиться.

Петръ Ивановичъ обалдѣвалъ.

Корявка поддавался.

Корявкѣ тоже помечтать хотѣлось — служба вѣдь назначена ему была безнадежная, а жизнь, какъ служба.

И оба они дурачились.

— Ты меня, Алексѣй Тимоѳеевичъ, называй не Петръ Ивановичъ, а Балда Балдовичъ, а я тебя Сенекой.

Пряменькій, маленькій Корявка важничалъ:

— Балда Балдовичъ!

— Сенека!

И ужъ не Петръ Ивановичъ Галузинъ, — Балда Балдовичъ, и не Корявка, а Сенека плутали по Петербургу.

И не поймешь со стороны, чего это ихъ разбираетъ, — ну, одинъ отъ любви, а другому что?

Странные вы, да вѣдь и Корявкѣ, хоть онъ и все понималъ, ему тоже хотѣлось любви.

*

И вотъ, изъ любви вышедшіе на свѣтъ, зашатались по Петербургу Балда Балдовичъ и Сенека.

Любовь все сотворитъ, чего сердце захочетъ.

И однажды Корявка затащилъ Петра Ивановича на Лиговку къ какимъ-то своимъ знакомымъ Грудинкинымъ и тамъ Петръ Ивановичъ, не Петръ Ивановичъ, Балда Балдовичъ, себѣ невѣря, вдругъ заговорилъ громко и лихо танцовалъ и былъ глагольливъ, что вергаса, а Корявка, не Корявка, Сенека, къ ужасу своему и противъ всякой воли, пѣлъ пѣсни, и выходило ничего.

По утрамъ за чаемъ, читая газету, Петръ Инавовичъ безполезно добивал-

ся, а понять все-таки никакъ не могъ, какъ это возможно, чтобы кто-то кого-то убилъ или кто-то рѣшился на самоубійство. И было ему непонятно, что люди ссорились и бранились, онъ больше не находилъ въ себѣ другого чувства, кромѣ одного, — кромѣ любви.

И когда въ архивной комнатенкѣ онъ жаловался Корявкѣ, что ничего не понимаетъ и потерялъ нить событіямъ жизни, Корявка, и самъ понемножку терявшій всякія нити, говорилъ восхищенно, съ восхищеніемъ глядя на обалдѣвшаго друга:

— Петръ Ивановичъ, — говорилъ въ восхищеніемъ Корявка, — да вѣдь вы... несѣкомая пуповина мірозданія! Петръ Ивановичъ! Я для васъ такое сдѣлаю, — во всѣхъ газетахъ напишутъ.

Всякому человѣку надо, чтобы кто-нибудь имъ восхищался.

И эта страсть восхитительная есть въ каждомъ.

А есть и другая . . .

Есть такіе, которымъ надо, и не могутъ они не восхищаться: восхищеніе — это ихъ жизнь, это главное, безъ чего и жить не стоитъ.

Посмотрите въ театрахъ, въ собраніяхъ, въ аудиторіяхъ, сколько увидите этихъ восхищенныхъ глазъ, по призванію восхищенныхъ, а всѣ эти мироносицы съ своимъ горящимъ неусталымъ огонькомъ, какъ часто оскорбленныя и униженныя, но преданныя до гроба своему идолу.

Будь Корявка женщиной, записали бы его въ мироносицы.

Я уже поминалъ о его непонятномъ за мной хожденіи и даже нехорошо обмолвился: подлецъ, — сказалъ я, — Корявка! — и это съ сердца, поймите, вѣдь у меня съ нимъ свои счеты, и я по-

лагаю, что надувательство его, ей-Богу, такого стоитъ.

Но скажу правду, случись мнѣ подъ клятвой свидѣтельствовать объ Алексѣѣ Тимоѳеевичѣ, я бы дурного сказать ничего не нашелъ:

Алексѣй Тимоѳеевичъ, пока восхищеніе наполняло его сердце, бывалъ преданъ и вѣренъ, и можно было въ чемъ угодно на него положиться, не выдастъ . . . другъ вѣрный.

*

Корявка — человѣкъ недобычный, и служба его безнадежна.

И во всемъ въ немъ что-то безнадежное: вотъ и пряменькій онъ, а сюртукъ — воротъ сзади вѣчно угломъ торчитъ безнадежно. А съ безнадежностью что-то и жалкое тутъ вотъ въ этомъ углу, гдѣ сходятся глазные лучи и носъ и губы.

Когда подъ вечеръ стоишь на людномъ перекресткѣ гдѣ-нибудь у Литейнаго на Невскомъ и ждешь трамвая, Корявка переходитъ улицу, — и хоть пряменькій и все на немъ прилично и аккуратно, но и до жалости ветхо . . . зимняя эта шапка его барашковая — коломъ, я помню, еще

когда говорилъ онъ мнѣ, что двадцать лѣтъ носитъ! — Корявка домой пробирается на свою Рождественскую, тамъ у него и комната, — квартиру держать Корявкѣ не по средствамъ. И мнѣ всегда какъ-то жалко и какъ-то стыдно, что вотъ у тебя и галстукъ, какъ галстукъ, и ни въ одной полоскѣ до-бѣла не вытертъ, и ты какъ-никакъ, а въ лучшихъ условіяхъ, ну, хоть вечеромъ самоваръ у тебя поетъ, и лампадка тамъ тихо свѣтится, ты въ своемъ углу, а онъ—въ полупроходной комнатенкѣ, и вѣчные за стѣною гости и разговоры и пѣсни.

Я знаю, жалостью моей ничего не поправишь и никому отъ нея не станетъ легче, я знаю, я знаю — и не могу помириться, и мнѣ всегда какъ-то стыдно... и такъ мнѣ понятно, какъ это можно добровольно ото всего отказаться и добровольно себѣ пріютъ найти на свалкѣ, а послѣдній пріютъ — подъ заборомъ.

Сюртукъ у Корявки не какой-нибудь, а на шелковой подкладкѣ, подкладка — бахрома, Корявка подрѣзалъ и подшивалъ

ее, и выходило ничего: сюртукъ, какъ новенькій; правда, поменьше бы глянца, но за то и времени ему, чуть что не ровесникъ шапкѣ.

А скажу вамъ, хорошо пріодѣться, даже пофрантить Корявка куда былъ не прочь, и, разсматривая въ „Нивѣ" картинки, подолгу останавливался на тѣхъ, гдѣ было много туалетовъ. И тутъ надъ картинками приходили ему всякія нарядныя мечты: то въ шикарнаго адвоката, то въ англійскаго лорда превращался Корявка.

И первое его восхищеніе Петромъ Ивановичемъ пошло именно отъ жилетки: жилетка Петра Ивановича показалась ему тогда ни съ чѣмъ не сравнимой и, тонко надушенная лѣсной фіалкой, закружила голову.

По субботамъ Корявка ходилъ въ баню.

И это былъ самый праздничный вечеръ — суббота.

Въ этотъ вечеръ и къ его сердцу приливала страсть восхитительная: ему тоже хотѣлось, чтобы кто-нибудь посмотрѣлъ на него, — на него, на чистенькаго, такъ, какъ самъ онъ умѣлъ смотрѣть. И нерѣдко,

за неимѣніемъ двойника своего, самъ онъ изъ ничего и выдумывалъ себѣ этотъ взглядъ восхитительный.

Есть въ жизни каждаго русскаго человѣка одинъ день такой въ году — именины, когда полагается и даже противъ воли твоей, чтобы тобой повосхищались.

И съ какимъ особеннымъ чувствомъ ждалъ Корявка своихъ именинъ.

Но это ли не безнадежная жизнь! — какъ на грѣхъ, и всегда-то поджидала его неудача.

Еще съ дѣтства, съ тѣхъ еще незабываемыхъ вѣрныхъ дней пошло такъ, что именины не въ именины: слякоть, дождикъ, — какія же это именины!

Корявку погода очень обижала.

А потомъ, когда ужъ и незабываемое забылось, и не трогала никакая слякоть, все-то до послѣдней грязиночки приберетъ, бывало, въ своей комнатѣ, накупитъ сластей всякихъ, наготовитъ подносъ — не подымешь, а никто и не пожалуетъ. И просидитъ такъ одинъ весь вечеръ, по часточкамъ, не спѣша, одинъ самъ всѣ апельсины съѣстъ. А то и придетъ какой

Грудинкинъ, наскандальничаетъ, и тоже нехорошо.

Именины — единственный день въ году, это не будни, и именинникъ совсѣмъ особый отъ другихъ, самъ по себѣ.

И это должно быть всякому видно.

Но Корявка, покоряясь судьбѣ, самъ ничего такого не выдѣлывалъ, никакого безобразія для отлики именинного дня: онъ не напивался, какъ норовитъ другой на свои именины хоть напиться, или какъ этотъ Грудинкинъ, письмоводитель, этотъ такое придумалъ, ну, вмѣсто того, чтобы тамъ, гдѣ слѣдуетъ — пройти въ нужное мѣсто — въ день своего ангела никуда не выходилъ, а все это въ комнатахъ жилыхъ дѣлалъ, нарочно.

Нѣтъ, Корявка единственно что позволялъ себѣ въ свои именины, такъ это поспать подольше и явиться на службу съ запозданіемъ и такъ постараться пройти, чтобы обратить на себя вниманіе: пускай всѣ догадаются, какой-такой день у него, и поздравятъ!

Увы, къ огорченію именинника, догадываться-то догадывались, да только съ большимъ запозданіемъ!

Послѣ обѣда Корявка ложился отдохнуть и долго разсматривалъ картинки и за картинками нарядно мечталъ.

Нынче всѣ мечты и думы Корявки были о Петрѣ Ивановичѣ.

*

Ни съ чѣмъ несообразная, выдуманная женитьба Петра Ивановича на Павочкѣ — всѣ лѣтніе ихъ планы и предположенія потерпѣли полную неудачу.

И дѣло приняло совсѣмъ другой оборотъ.

Ерыгины вернулись въ Петербургъ на Воздвиженье.

Петръ Ивановичъ не замедлилъ, зачастилъ на Французскую набережную.

Но послѣ каждаго своего свиданія съ Павочкой возвращался къ себѣ на Пушкинскую, повѣся носъ.

Павочка встрѣчала его всегда радушно, — еще бы, и лунатикъ, и никто такъ не смотрѣлъ на нее, такъ восторженно, какъ Петръ Ивановичъ!

Когда же пробовалъ Петръ Ивановичъ заговаривать съ нею о самомъ своемъ завѣтномъ, — о той тихой райской семейной жизни на Каменноостровскомъ въ

новомъ, теперь уже отдѣланномъ домѣ, Павочка или ровно ничего не понимала, или представлялась, что не понимаетъ:

она удивленно смотрѣла на него, раскрывъ свой алый ротикъ, или отдѣлывалась пустяками, или просто смѣялась.

И въ этомъ смѣхѣ, въ болтовнѣ и взглядѣ Петръ Ивановичъ чувствовалъ что-то оскорбительное — вѣдь такъ далеко ушелъ онъ съ Корявкой въ мечтахъ, а и тѣни подобія не было.

Но откуда онъ взялъ, что Павочка выйдетъ за него замужъ?

Ниоткуда . . .

Только оскорбительно и больно ему было отъ ея взгляда, болтовни и смѣха.

Товарищи Миши постоянно толклись у Ерыгиныхъ.

И оскорбительно и больно было видѣть Петру Ивановичу, что Павочка держалась съ ними такъ же, какъ съ нимъ, относилась къ нему такъ же, какъ и къ нимъ.

Но вѣдь такъ и всегда было.

Не замѣчалъ — —

Не замѣчалъ?

— Нѣтъ, все замѣчалъ, да мечты-то тогда не были такъ далеки!

И все-таки, какъ ни оскорбительно и какъ ни больно это, а выносимо.

*

Съ нѣкоторыхъ поръ Петръ Ивановичъ совсѣмъ пришелъ въ уныніе:

съ нѣкоторыхъ поръ въ разговорахъ неизмѣнно сталъ поминаться какой-то докторъ, и при этомъ какія-то таинственныя перемигиванія съ Веточкой.

Кто же этотъ таинственный докторъ? Ужъ не женихъ ли?

Сколько Петръ Ивановичъ ни разспрашивалъ и всякими намеками наводилъ, лишь бы дознаться правды, а добиться ничего не могъ.

Павочка по пятницамъ ѣздила къ доктору на пріемъ, но никакого доктора, кромѣ старичка Александра Львовича, Петръ Ивановичъ у Ерыгиныхъ не встрѣчалъ.

И гдѣ живетъ этотъ докторъ, женихъ?

Петръ Ивановичъ открылся во всемъ Корявкѣ.

И Корявка взялся устроить дѣло: Корявка прослѣдитъ квартиру доктора, пойдетъ къ доктору на пріемъ и убѣдится

собственными глазами, такъ это или не такъ.

Объ этомъ дѣлѣ своемъ секретномъ Корявка и думалъ, перелистывая нарядныя картинки.

Угодить Петру Ивановичу, помочь другу было для него выше и самой нарядной именинной мечты:

онъ ужъ согласенъ навсегда остаться Корявкой, тѣмъ самымъ пряменькимъ и жалкимъ Корявкой, какимъ мы его всѣ знаемъ, лишь бы Петръ Ивановичъ снова по-лѣтнему ожилъ.

А куда ожить!

*

Петръ Ивановичъ, и совсѣмъ незамѣтно, всё ближе подходилъ къ самой настоящей правдѣ. И эта правда убивала его, — онъ ужъ чувствовалъ свою ненужность.

Онъ вдругъ почувствовалъ всѣмъ существомъ своимъ, что никому не нуженъ,

А потому не нуженъ, что ей не нуженъ.

А раньше?

Раньше не то... раньше онъ былъ нуженъ...

Какъ, развѣ она измѣнилась къ нему? Нисколько.

Въ чемъ же дѣло?

А вотъ въ мечтѣ его, въ мечтахъ его — вѣдь мечты его были такъ далеки! — а на самомъ-то дѣлѣ ничего такого не было, и все оставалось неизмѣнно.

Петръ Ивановичъ теперь и самъ понималъ, что Павочка къ нему нисколько не измѣнилась, что отношеніе ея къ нему такое же, какое было тамъ, на дачѣ, и что нуженъ онъ ей ничуть не больше и не меньше.

А чувствовалъ еще большую свою ненужность.

Онъ ужъ дня не могъ прожить, чтобы не увидѣть Павочки, а всякое свиданіе оставляло въ его сердцѣ одну боль.

Павочка танцовала, ей было пріятно, и онъ хотѣлъ бы радоваться съ нею, но она танцовала съ другими, и ему было больно.

И когда въ разговорахъ Павочка кого-нибудь хвалила, ему было больно.

Ему было больно отъ всякаго ея взгляда, отъ всякаго ея слова, отъ всякаго ея движенія, если ея взглядъ, ея слова, ея дви-

женіе относились не къ нему, а къ другимъ.

И чѣмъ дальше, тѣмъ больнѣй, и чѣмъ дальше, тѣмъ неутолимѣй боль.

И онъ неизмѣнно уносилъ эту боль.

И лишь въ рѣдкіе дни, когда у Ерыгиныхъ никого не было, и Павочка занималась только съ нимъ, онъ на время забывался, но и тутъ что-нибудь мѣшало: или перемигиванія съ Веточкой о докторѣ, или Павочка начнетъ вспоминать какихъ-нибудь своихъ поклонниковъ, да мало ли что — мелочи, о которыхъ часто не легко додуматься и при самомъ подозрительномъ желаніи.

Петръ Ивановичъ никогда не ходилъ по ресторанамъ, — теперь при всякомъ удобномъ случаѣ тащилъ съ собой Корявку.

Пить онъ хоть и не пилъ, но кабацкая обстановка дѣйствовала, онъ выбиралъ рестораны съ музыкой и всякіе самарканды.

— Знаешь, Алексѣй Тимоѳеевичъ, хотѣлъ бы Машу встрѣтить. И такъ просто посидѣть съ нею, поплакать. Жизнь моя загублена!

— Что вы, Петръ Ивановичъ, надо душой переболѣть, надо горести принять — и тогда желаніе получите. Это всегда такъ. А почему такъ, и почему надо — неисповѣдимо.

— Да у меня свѣту нѣту, — понимаешь? И не виноватъ я передъ нею.

— Жизнь, Петръ Ивановичъ, жестокая, а иго ея нелегкое. И если ужъ рѣшать по-человѣческому — и ключа не найти, — Корявка тянулъ себя за свою козью бородку, — а можетъ, и совсѣмъ не жестокая, и не такъ это мы, Петръ Ивановичъ. Небесныхъ словъ не знаемъ, и все не такъ выходитъ.

— И она не виновата.

— Неисповѣдимо, Петръ Ивановичъ.

*

Корявка могъ смыслить всякое дѣло и дать смысленъ отвѣтъ, но и мудрованія Корявкины не успокаивали Петра Ивановича.

Не успокоило его и открытіе о таинственномъ докторѣ.

Докторъ, къ которому по пятницамъ ѣздила Павочка, дѣйствительно, по отзыву

Корявки, оказался какимъ-то необыкновеннымъ:

и красивъ, и ловокъ, да и брови безъ перерыва, словно углемъ намазаны, — это ли не красота? — и самъ поспѣшный на все и живой необычайно, — лѣчитъ по косметической части, сбавляетъ вѣсъ и выводитъ усики, прiемная ломится отъ дамъ, но жениться, какъ кажется, не собирается, притомъ же онъ семейный.

Эту тайну раскрылъ Корявка.

— Семья въ Москвѣ.

Чего же еще? Дѣло ясное — выводитъ усики! И безпокоиться за Павочку тутъ совсѣмъ не годится: съ усиками Павочка или безъ усиковъ — все Павочка!

Да за это и не безпокоился Петръ Ивановичъ, а только ему и покоя-то нигдѣ не было.

Видно, боль прошла глубоко, и вотъ въ душѣ столкнулся онъ съ настоящею правдой.

Онъ не только не думалъ, какъ лѣтомъ, какъ еще недавно, о женитьбѣ, куда тамъ думать! — какъ теперь далекъ онъ былъ

отъ своей мечты, и понялъ вдругъ, что все-то онъ мечталъ, — и однѣ мечты!

И это понялъ онъ сейчасъ, когда Корявка, довольный своими розысками, выкладывалъ съ мельчайшими подробностями самыя неожиданныя свои заключенія и обнадеживалъ Петра Ивановича въ счастливой судьбѣ.

Не того хотѣлъ Петръ Ивановичъ.

Правда побѣдила его мечту. Онъ принялъ эту правду.

И ему хотѣлось разъ и навсегда высказаться, вывернуть передъ ней всю свою душу.

„Онъ одинъ — онъ это знаетъ! — онъ одинъ, который ее такъ любитъ, какъ никто не будетъ такъ любить, любитъ безъ всякой надежды, любитъ всѣмъ существомъ и готовъ для нея ее не видѣть, не встрѣчаться, онъ только ждать будетъ, чтобы увидѣть . . . будетъ самый тихій, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вѣчно покорный ея рабъ!“

*

Послѣ морозовъ наступила оттепель.

А за оттепелью дохнулъ вѣтеръ.

Гдѣ-то тамъ зародившись межъ Исландіей и Англіей на океанѣ, черезъ море, черезъ скалы прилетѣлъ вѣтеръ.

Вѣтеръ, вихрясь, леталъ по улицамъ и, шалуя, набрасывался изъ переулковъ на прохожихъ, и шалый, несмѣтный и жестокій вотъ разгулялся!

Вѣтеръ гулялъ по Петербургу.

И творилось Богъ знаетъ что.

Къ ночи собралъ вѣтеръ всю свою силу — къ ночи завихорилъ вѣтеръ въ гульбѣ —

Или это ангелъ, водящій облаки, духъ-вѣтеръ пустилъ съ небесныхъ улицъ всю вѣтрову силу?

вѣтеръ! вѣтрило —

Вѣтеръ несмѣтный, мало ему улицъ, — дай, дай простору!

И рветъ желѣзо съ крышъ и трубъ, рветъ швыркомъ.

Вѣтеръ грозилъ, свистѣлъ.

Свистъ его — свистъ змѣи, въ сердцѣ огонь, — клятвами не заклясть, искупа не дать, — и нѣтъ поруки.

Ему мало, ему тѣсно — дай, дай простору!

Не чужой, знаетъ, при Петрѣ, ой, какъ гулялъ — было въ Санктпитирбурхѣ посвободнѣй, а теперь въ Петербургѣ ему тѣсно . . .

вѣтеръ! вѣтрило —

Вѣтеръ врывался въ дома, свистѣлъ въ окнахъ, свистомъ наполнялъ весь домъ.

Или высвистывалъ, выманивалъ на волю погулять съ нимъ по волѣ?

Ничего не страшно, и, сколько хочешь, пали изъ пушекъ, не угоняться!

Ему не страшно!

Вѣтеръ свистѣлъ, выговаривалъ, — рѣчи его странны, намъ незнаемы, — выговаривалъ, стучалъ желѣзомъ, звонилъ въ колокола.

Собиралъ ли колокольнымъ звономъ свою силу въ свальный бой, или насъ погулять выкликалъ — — въ ночи на волѣ? Звонилъ въ колокола, тушилъ фонари, дергалъ за телеграфный столбъ.

Въ его сердцѣ горѣлъ огонь — о! гонь — —

вѣтеръ! вѣтрило —

Вѣтеръ, вставъ головой до звѣздъ, зазвѣздный, вѣтеръ пустился отъ Знаменья черезъ Аничковъ мостъ —

А кони его, — голуби, а въ гривахъ перегудаютъ звонцы, и бѣлымъ огнемъ по пути жигалъ — и! — и — и!

вѣтеръ! вѣтрило, — поми! — и — луй!

На Невѣ вода подымалась.

Есть, по Корявкѣ, три естества у воды: первое — мы по ней плаваемъ, второе — мы ею моемся, третье — мы ее пьемъ; а есть и четвертое — насъ она топитъ.

На Невѣ вода подымалась.

И до какихъ краевъ дойдетъ, никто не зналъ, да и сама Нева не знала.

Ужъ ограда чернѣла близко.

Къ оградѣ вода подымалась —

*

На Французской набережной изъ оконъ отъ Ерыгиныхъ все было видно.

Не тревога, вольница стояла въ домѣ.

Миропія Алексѣевна наканунѣ уѣхала въ Москву, оставалась одна молодежь. Были гости.

И вѣтеръ, какъ свой, выкликалъ изъ залы. Или это, вольный, въ залу пустить просился . . .

Петръ Ивановичъ, рѣшившійся въ послѣдній разъ все высказать Павочкѣ и клятву положившій на свою душу до смерти не видѣться, не могъ найти и минуты побыть съ нею наединѣ.

И была попрежнему боль отъ ея словъ, отъ ея смѣха, отъ ея взгляда, отъ ея движеній.

И боль подымалась въ его сердцѣ, какъ вода на Невѣ.

И вотъ дошла, должно быть, до той самой гранитной ограды — и сѣкнуло сердце.

Петръ Ивановичъ вдругъ перемѣнился и, тихій, пошелъ ходить по залу странно, словно танцуя.

Было весело и шумно.

До Петра Ивановича никому не было дѣла. Но Павочка его замѣтила —

Какъ странно, словно танцуя, ходилъ онъ по залу!

— Петръ Ивановичъ — лунатикъ, — сказала Павочка, — Петръ Ивановичъ что угодно можетъ сдѣлать. Петръ Ивановичъ, — позвала она, — подойдите, я вамъ что скажу!

Петръ Ивановичъ покорно подошелъ.

Петръ Ивановичъ — лунатикъ, Павочка — луна!

— Петръ Ивановичъ сейчасъ такое сдѣлаетъ, этого никто не можетъ!

Павочка кричала и прыгала отъ удовольствія.

— А что такое, что онъ сдѣлаетъ?

— А вотъ увидимъ.

Павочка тянула его къ балкону.

Надо растворить балконъ и посмотрѣть, что тамъ дѣлается.

У! Какъ засвиститъ вѣтеръ —

вѣтеръ! вѣтрило —

Кто-то погасилъ электричество.

И на минуту въ залѣ пробѣжалъ холодокъ.

И на минуту подумалось:

„можетъ, ничего и не надо затѣвать, вернется Миропія Алексѣевна, узнаетъ, разсердится, или Веточка простудится!“

Въ темнотѣ не растворялись двери: двери были замазаны крѣпко.

Зажгли электричество. И двери наконецъ поддались.

И съ трескомъ распахнулась дверь.

Вѣтерь изъ всей своей силы дохнулъ въ залу —

вѣтеръ! вѣтрило —

Не было силъ устоять на волѣ.

Вѣтеръ гналъ въ комнаты.

И одной минуты нельзя было пробыть на балконѣ.

— Петръ Ивановичъ! — кричала Павочка и указывала ему на балконъ.

И ея голосъ казался Ивану Александровичу сильнѣе и крѣпче самого вѣтра.

вѣтеръ! вѣтрило!

Петръ Ивановичъ покорно шелъ къ балкону —

Петръ Ивановичъ лунатикъ, Павочка — луна!

Неопасливо шелъ, такъ и всюду пойдетъ, куда ему скажутъ, — куда ему она скажетъ.

Если бы только зналъ Корявка: Корявка превратился бы въ Сенеку и остерегъ, отговорилъ бы своего друга, но Корявка, пригрѣвшись подъ своей лысой еноткой, подъ свистъ вѣтра похрапывалъ мирно.

Петръ Ивановичъ — лунатикъ, Павочка — луна!

Петръ Ивановичъ все можетъ, вотъ онъ можетъ пройти по карнизу, и подъ любымъ вѣтромъ пройти по карнизу ему ничего не станетъ.

И двери за нимъ затворились.

На балконѣ въ вѣтрѣ онъ остался одинъ.

вѣтеръ! вѣтрило —

*

Павочка бросилась къ окну.

И черезъ минуту ей въ окнѣ показалось лицо:

Петръ Ивановичъ шелъ по карнизу и вотъ дошелъ до окна и сталъ —

Изъ черной вѣтренной ночи глядѣло лицо.

Въ залѣ примолкло —

Лишь вѣтеръ струйкой бѣжалъ черезъ балконную щель и свистѣлъ.

А въ окнѣ все стояло лицо.

И, какъ углемъ, обведены были ночью глаза.

„Онъ одинъ — онъ это знаетъ! — онъ одинъ, который ее такъ любитъ, какъ никто не будетъ такъ любить, любитъ безъ всякой надежды, любитъ всѣмъ существомъ, и готовъ для нея ее не видѣть, не встрѣчаться, онъ только ждать будетъ, чтобы увидѣть... и будетъ самый тихій, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вѣчно покорный ея рабъ!“

Павочка закрылась рукой.

И въ окнѣ —

вѣтеръ! вѣтрило —

Тамъ, за рамой, больше нѣтъ никого, а глядитъ одна вьюжная ночь.

*

Бѣдный Петръ Ивановичъ, конечно, гдѣ тутъ удержаться подъ такимъ вѣтромъ на такомъ узенькомъ карнизѣ!

Бѣдный Корявка, какъ-то проснется, какъ-то узнаетъ, на кого будетъ восхищаться, гдѣ теперь его Балда Балдовичъ — Петръ Ивановичъ Галузинъ?

Снились Корявкѣ черти, по набережной будто скачутъ черти, какъ палочки черныя, скачутъ черти, а вмѣсто головы полшапки, и чертовка съ чертями ходитъ, маленькая, немолодая, и самъ главный Зеѳеусъ, бѣсъ бѣлый, глаза бѣлые...

— Мы тебя, Корявка, любить будемъ! — говорятъ черти.

— Полно, отпустите!

— Нѣтъ, не отпустимъ, не можемъ. Мы тебя любить будемъ!

— Петръ Ивановичъ!

И въ послѣдній разъ вѣтеръ, взвинтивъ надъ Петербургомъ, улетѣлъ съ своей силой въ мѣста непроходныя:

тамъ, на Печорѣ, вкругъ Желѣзныхъ воротъ, погулять ему.

*

Съ вихремъ не нашимъ надъ нашей землей летѣлъ Петръ Ивановичъ, не Петръ Ивановичъ Галузинъ, душа человѣчья.

Третьи ужъ сутки, какъ сорвался съ карниза, и летѣлъ и летѣлъ... не вверхъ, не внизъ, не налѣво, не направо, а такъ, какъ летаетъ душа человѣчья.

И видѣлъ Петръ Ивановичъ, — душа человѣчья, — безъ перерыву и Россію, всѣ концы ея видѣлъ, и въ то же время свою Пушкинскую квартиру съ малиновой наклейкой на парадной двери о сдачѣ, и въ то же время у стола надъ зеркальцемъ Корявку — Корявка трудился надъ своей бороденкой, маленькими ножничками подстригалъ ее чисто, какъ бритвой: завтра въ баню, завтра суббота! — и въ то же время старичка генерала надъ архивнымъ дѣломъ — это дѣло Петръ Ивановичъ съ недѣлю какъ взялъ отъ Корявки для генерала. И видѣлъ то, чего никогда не видѣлъ, только хотѣлось увидѣть — подъѣзжали министры съ докладомъ и какъ все было не такъ, какъ онъ думалъ! — и себя увидѣлъ — да гдѣ же это онъ, Господи?

Вѣнчикъ на лбу съ тремя крестами: Святый Боже, Святый Крѣпкій, Святый Безсмертный, помилуй насъ!

И Павочку увидѣлъ, она у окна стояла, раскрывъ свой алый ротикъ . . . близко, а не коснешься.

И смотритъ и не видитъ.

И не сказать и не окликнуть.

И онъ въ тоскахъ заметался.

Откуда ему свѣтъ засвѣтитъ, или откуда ему заря возсіяетъ?

А мимо по стезямъ и дорогамъ другіе проходили, претерпѣвшіе въ жизни —

Въ скорбяхъ.
Въ бѣдахъ.
Въ тѣснотахъ.
Въ ранахъ.
Въ темницахъ.
Въ нестроеніяхъ.
Въ трудахъ.
Въ бдѣніяхъ.
Въ очищеніяхъ.
Въ разумѣ.
Въ долготерпѣніи.
Въ благости.
Въ Духѣ Святѣ.
Въ любви нелицемѣрной.
Въ словахъ истины.
Въ силѣ Божіей —

По стезямъ и дорогамъ къ Звѣздѣ Пресвѣтлой.

И маленькія дѣвочки въ синихъ платьицахъ, сплетаясь ручками, другъ за дружкой гуськомъ шли навстрѣчу отъ Звѣзды Пресвѣтлой.

Откуда ему свѣтъ засвѣтитъ, или откуда ему заря возсіяетъ?

Петръ Ивановичъ съ болью рванулся отъ окна — оторваться не можетъ.

Онъ ей завѣченъ?

Завѣченъ, — на весь вѣкъ.

И смерть не отсѣкла?

Смерть никогда не отсѣкаетъ.

Онъ рванулся и понялъ —

Онъ понялъ, что такъ все и нужно, и то, что было, и то, что есть, и то, что будетъ —

И тарабаниться нечего.

И повисъ . . .

Тамъ, гдѣ мучатся души въ тоскѣ.

„Онъ одинъ — онъ это знаетъ! — онъ одинъ, который ее такъ любитъ, какъ никто не будетъ такъ любить, любитъ безъ всякой надежды, любитъ всѣмъ суще-

ствомъ и готовъ для нея ее не видѣть, не встрѣчаться, онъ только ждать будетъ, чтобы увидѣть . . . и будетъ самый тихій, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вѣчно покорный ея рабъ!“

1914—1922.